

Афанасий Афанасьевич Фет

# Ранние годы моей жизни



Афанасий Фет

**Ранние годы моей жизни**

«Public Domain»

1891

## **Фет А. А.**

Ранние годы моей жизни / А. А. Фет — «Public Domain», 1891

«...Как бы педагоги и физиологи ни отнеслись к словам моим, я буду настойчиво утверждать: первым впечатлением, сохранившимся в моей памяти, было, что кудрявый, темно-русый мужчина, в светло-синем халате на черном калмыцком меху, подбрасывает меня под потолок, и мне было более страшно, чем приятно. Самые черты лица этого человека твердо врезались мне в память, так что я узнал его двадцать лет спустя, хотя в течение всего этого времени не видал даже его портрета. Этот человек был родной брат матери моей, сын Дармштадтского обер-кригскомиссара Карла Беккера, носивший в России имя Эрнста Карловича, точно так же, как мать моя, до присоединения к православной церкви, носила название Шарлотты Карловны. Но как восприемником ее был родной брат отца моего Петр Неофитович, то мать в православии называлась Елизаветой Петровной. Такое светлое пятно на непроницаемом мраке памяти моей в данное время почти невероятно, так как мне не могло быть более 1 1/2 года от роду. Конечно, я ничего не помню, каким образом дядя Эрнст прибыл к нам в Новоселки и снова уехал в Дармштадт. Точно так же, как память моя до самых слабых сумерков своих находит лики моих родителей и моего крестного отца, дяди Петра Неофитовича, – я не помню времени, когда бы при мне не было крещеной немки Елизаветы Николаевны...»

© Фет А. А., 1891

© Public Domain, 1891

# Афанасий Афанасьевич Фет

## Ранние годы моей жизни

### I

Как бы педагоги и физиологи ни отнеслись к словам моим, я буду настойчиво утверждать: первым впечатлением, сохранившимся в моей памяти, было, что кудрявый, темно-русый мужчина, в светло-синем халате на черном калмыцком меху, подбрасывает меня под потолок, и мне было более страшно, чем приятно. Самые черты лица этого человека твердо врезались мне в память, так что я узнал его двадцать лет спустя, хотя в течение всего этого времени не видал даже его портрета. Этот человек был родной брат матери моей, сын Дармштадтского обер-кригскомиссара Карла Беккера, носивший в России имя Эрнста Карловича, точно так же, как мать моя, до присоединения к православной церкви, носила название Шарлотты Карловны. Но как восприимчивым ее был родной брат отца моего Петр Неофитович, то мать в православии называлась Елизаветой Петровной. Такое светлое пятно на непроницаемом мраке памяти моей в данное время почти невероятно, так как мне не могло быть более 1 1/2 года от роду. Конечно, я ничего не помню, каким образом дядя Эрнст прибыл к нам в Новоселки и снова уехал в Дармштадт. Точно так же, как память моя до самых слабых сумерков своих находит лики моих родителей и моего крестного отца, дяди Петра Неофитовича, — я не помню времени, когда бы при мне не было крещеной немки Елизаветы Николаевны.

Равным образом не помню нашего переезда во Мценск, в наемный дом с мезонином, по случаю службы отца в должности уездного предводителя дворянства. В этот период ребяческая память сохранила несколько совершенно ясных пятен. Так я помню прелестную девочку, сестру Анюту, годом моложе меня, и худощавого, болезненного мальчика, брата Васю, моложе меня на два года. Сестренку свою я любил с какою-то необузданностью, и когда набрасывался целовать ее пухленькие ручки и ножки, как бы перевязанные шелковинками, кончалось тем, что жестоко кусал девочку, и та поднимала раздирающий вопль. На крик вбегала мать и сама плакала от отчаяния. Напрасно прибегала она ко всякого рода наказаниям: ничто не помогало. Однажды, услышав крик девочки, мать совершенно потеряла голову и, схватив меня за руку, сильно ее укусила. Симпатия подействовала: с той поры я уж не кусал сестру. Ту же безграничную любовь, которую внушала мне сестренка, чувствовал ко мне брат Вася. Образ отца, возникший передо мною с раннего детства, мало изменился впоследствии. Круглое, с небольшим широким носом и голубыми открытыми глазами, лицо его навсегда сохранило какую-то несообщительную сдержанность. Особенный оттенок придавали этому лицу со тщательно выбритым подбородком небольшие с сильною проседью бакенбарды и усы, коротко подстриженные. Стройная, небольшого роста, темно-русская, с карими глазами и правильным носиком мать видимо старалась угодить отцу. Но никогда я не видал ни малейшей к ней ласки со стороны отца. Утром при встрече и при прощанье по поводу отъезда он целовал ее в лоб, даже никогда не подавая ей руки. В первый раз в моей памяти я вижу отца быстро вальсирующим по нашей Мценской зале с 4-х летней Анютой. При этом волосы с сильной проседью, которые он зачесывал с затылка на обнаженный череп, длинными косицами свалившись с головы, трепались у него за спиною. Таким остался отец до глубокой старости, с тою разницей, что все короче подстригал на затылке скудные седины, сохраняя те же стриженные усы и бакенбарды и ту же несообщительную сдержанность выражения.

Изредка признаки ласки к нам, детям, выражались у него тем же сдержанным образом. Никого не глядя по голове или по щеке, он сложенными косточками кулака упирался в лоб счастливец и сквозь зубы ворчал что-то вроде: «Ну...»

Бедная мать, утрачивая вместе с здоровьем и энергию, все полнела, и хотя никогда не была чрезмерно толста, но по мере прибавления семейства все реже и реже покидала кровать, обратившуюся наконец в мучительный одр болезни.

Набравшись, как я впоследствии узнал, принципов Руссо, отец не позволял детям употреблять сахару и духов; но доктора, в видах питания организма, присудили поить Васю желудковым кофеом с молоком. Напиток этот для нас, не знавших сахару, казался чрезвычайно вкусным, и Вася, еще плохо произносивший слова: Афанасий, брат и кофей, – каждое утро подходил ко мне и тянул к своей кружке, повторяя: «Ась, бать, фофа».

Почти ежедневно через залу, где мы играли, в кабинет к отцу проходил с бумагами его секретарь, Борис Антонович Овсяников. Часто последний обращался ко мне, обещая сделать превосходную игрушку – беговые санки, и впоследствии я не мог видеть Бориса Антоновича без того, чтобы не спросить: «Скоро ли будут готовы санки?» На это следовали ответы, что вот только осталось выкрасить, а затем высушить, покрыть лаком, обить сукном и т. д. Явно, что санки существовали только на словах.

Как раз по другую сторону улицы, против нашей квартиры, в большом, сером деревянном доме помещались музыканты квартировавшей во Мценске артиллерийской батареи. В настоящее время я полагаю, что бывавший у нас тогда в гостях генерал с золотыми эполетами был артиллерийский бригадный начальник, Алексей Петрович Никитин, впоследствии инспектор резервной кавалерии и граф. В то время, я помню, в гости к сестре Анюте приезжала с гувернанткой дочь Никитина, Лиза, которая подарила Анюте прелестную восковую куклу, открывавшую и закрывавшую глаза. Кукла эта, стоя на подставке, едва ли не была ростом больше самих девочек. По временам, вечером, съезжались у нас окрестные или зимующие в городе помещики, и пока в зале, куда детей не пускали, до полуночи играли в карты, приезжие кучера и фореиторы разминались, стараясь согреться, на улице или на просторном дворе перед окошками. Увидав однажды, как они кулаками тузят друг друга, я, невзирая на свою обычную сдержанность, разразился болезненным криком, дошедшим до слуха отца, который, бросив гостей и карты, прибежал узнать, что случилось. На беду я во время плача был подвержен невольным спазматическим всхлипываниям, которые мешали твердому желанию перестать плакать.

В праздничные дни я с особенным любопытством и удовольствием смотрел, как в невысокую калитку против окон нашей детской один за другим, наклоня голову, чтобы не зацепить высоким качающимся султаном за притолку, выходили со своими инструментами пестрые музыканты. Слышать военную музыку было для меня верхом наслаждения.

Не помню обстоятельств смерти бедного брата Васи. Впоследствии от няни, Елизаветы Николаевны, я узнал, что он погребен на Мценском монастырском кладбище.

Слуг по тому времени держали много; но выдающимся из них был камердинер отца, Илья Афанасьевич, сопровождавший его к Пирмонтским водам и в Дармштадт, откуда вместе с ними через Краков приехала в Новоселки моя мать.

Впоследствии не раз она рассказывала о соляных каменоломнях Велички, где, кроме подземных улиц и жилищ из каменной соли, высечен храм, великолепно мерцающий при освещении.

Илья Афанасьевич, безусловно, подобно всем в доме, боявшийся отца, постоянно сохранял к нам, детям, какой-то внушительный и наставительный тон.

– Вам, батюшка барин, скоро надо учиться, *schprechen sie deutsch*, пойдете в полк да станете генералом, как Алексей Петрович, и стыдно будет без науки.

Это не мешало Илье Афанасьевичу весною из сочной коры ветлы делать для меня превосходные дудки, что давало мне возможность, конечно, в отсутствие отца бить в подаренный крестным отцом барабан, продолжая в то же время дуть в громогласную дудку.

Не могу сказать, при каких обстоятельствах мы переехали в Новоселки, но хорошо помню, что сестра Анюта заболела, и меня к ней на антресоли в детскую не допускали. Тем не

менее через Елизавету Николаевну и горничных я знал обо всем, что происходило наверху: как ежедневно приезжал туда доктор, как поставил за уши ребенку двенадцать пиявок и положил на голову пузырь со льдом. Мать не отходила от кровати ребенка, и наконец положение больной стало до того безнадежно, что на меня уже не обращали никакого внимания, и я упротисил Елизавету Николаевну позволить мне взглянуть на сестру. Та пустила меня наверх, запретивши говорить что-либо. Помнится, кто-то сказал:

«Умирает». Не зная собственно, что это такое, я неслышной стопой подошел к кровати, на которой лежала Аня. Яркий румянец играл на ее детском лице, и большие голубые глаза неподвижно смотрели в потолок.

– Аня, – сказал я, забывая запрещение.

Голубые глаза склонились ко мне с несомненною улыбкою, но остальное лицо оставалось неподвижно. Это было последним нашим свиданием. К вечеру того же дня девочка умерла, и мощный отец, хотя и ожидавший этого конца, упал в обморок.

В начале зимы того же года я снова помню себя во Мценске; но не на прежней квартире, а в зале какого-то купеческого дома. Помню, что на этот раз нас с матерью сопровождал не Илья Афанасьевич, а старый, еще дедовский слуга Филипп Агафонович, с которым впоследствии мне суждено было тесно сблизиться, так как он в продолжение нескольких лет был моим дядькой. Помню, что около меня часто повторялась слова: «царские похороны», но помню, что долго, и впоследствии слово «похороны» связывалось в моем воображении с чем-то, начинающимся со звука \_пох\_, вроде немецкого рошен – бухать.

Вечером во Мценске меня к матери посадили в заскрипевший по снегу возок, а затем Филипп Агафонович, держа меня на плече, тискался в соборе сквозь густую толпу народа. Помню, как хромой, знакомый нам, городничий крикнул Филиппу Агафоновичу. «Вот ты старый человек, а дурак! ребенка на такую тесноту несешь». Помню, как тот же Филипп Агафонович вынес меня обратно на паперть и сказал; «Постойте, батюшка, минуточку; я только мамашу...».

Оставшись один и увидав вокруг собора у ярких костров греющихся на морозе солдатиков, причем составленные в козлы ружья красиво сверкали, я сам захотел быть солдатом и прошел с паперти к ним.

– Ах, отцы мои небесные! – раздался надо мною голос Филиппа Агафоновича, – пожалуйте в возок, домой, домой!

На другое утро мама сидела под окошком и, глядя на проходящие толпы, утирала слезы платком. Не помню последовательности погребальной процессии, но я уже знал, что вскорости повезут тело государя Александра Павловича.

– А вот и папа, – сказала матушка.

И действительно, отец шел в своем мундире, при сабле и с красной уланской шапкой на голове. Затем последовали сани с устроенным на них катафалком под балдахином. Катафалк везли веревками многочисленные мценские обыватели; провели и траурного коня.

Помню себя снова на Новоселках, и с тех пор воспоминания мои проясняются до непрерывности.

Для большей наглядности домашней жизни, о которой придется говорить, позволю себе сказать несколько слов о родном гнезде Новоселках. Когда по смерти деда Неофита Петровича отцу по разделу достались: лесное в 7 верстах от Мценска Козюлькино, Новосильское, пустынное Скворчее и не менее пустынный Ливенский Тим, – отец выбрал Козюлькино своим местопребыванием и, расчистив значительную лесную площадь на склоняющемся к реке Зуше возвышении, заложил будущую усадьбу, переименовав Козюлькино в Новоселки.

Замечательна общая тогдашним основателям усадеб склонность строиться на местностях, искусственно выровненных посредством насыпи. Замечательно это тем более, что, невзирая на крепостное право, работы эти постоянно производились наемными хохлами, как теперь

производятся большею частию юхновцами. На такой насыпи была построена и Новосельская усадьба, состоявшая первоначально из двух деревянных флигелей с мезонинами. Флигели стояли на противоположных концах первоначального плана с несколько выдающимся правым и левым боками. Правый флигель предназначался для кухни, левый для временного жилища владельца, так как между этими постройками предполагался большой дом. Стесненные обстоятельства помешали осуществлению барской затеи, и только впоследствии умножение семейства принудило отца на месте предполагаемого дома выстроить небольшой одноэтажный флигель.

До того времени пришлось всем нам довольствоваться левым флигелем, получившим у нас название дома, а у прислуги хором. Что эти хоромы были невелики, можно судить по тому, что в нижнем этаже было всего две голландских печки, а в антресолях одна. Поднявшись умственно по ступеням широкого каменного под деревянным навесом крыльца, вступаешь в просторные сени, в которых была подъемная крышка над лестницею в подвал. Налево из этих теплых сеней дверь вела в лакейскую, в которой за перегородкой с балюстрадой помещался буфет, а с правой стороны вдоль стены поднималась лестница в антресоли. Из передней дверь вела в угольную такого же размера комнату в два окна, служившую столовой, из которой дверь направо вела в такого же размера угольную комнату противоположного фасада. Эта комната служила гостиной. Из нее дверь шла в комнату, получившую со временем название классной. Последней комнатой по этому фасаду был кабинет отца, откуда небольшая дверь снова выходила в сени. Нужно прибавить, что в отцовском кабинете аршина три в глухой стене были отгорожены для гардероба. Весь мезонин состоял из одного 10-ти аршинного сруба, разгороженного крестообразно на четыре комнаты, две поменьше и две побольше. Меньшие были девичьими, а из двух больших одна была спальня матери, а другая детской, выпустившей из своих стен, кроме умерших, пять человек детей.

Так как моя Елизавета Николаевна всею душой предана была насущным интересам многочисленных горничных, то и я, в свою очередь, не знал ничего отраднее обеих девичьих. Эти две небольших комнаты не отличались сложностью устройства, зато как богаты были содержанием! Вместо стульев в первой и во второй девичьей, с дверью и лестницею на чердак, вдоль стен стояли деревянные с висячими замками сундуки, которые мама иногда открывала к величайшему моему любопытству и сочувствию. Выдавая повару надлежащее количество сахарного горошка, корицы, гвоздики и кардамона, она иногда клала мне в руку пару миндалинок или изюминок. Изюм и чернослив не входили в разряд запретных сахарных и медовых сладостей.

Вот на этих-то сундуках вечером и в особенности рано утром со свечами усаживался на донцах с гребнями говорливый сонм горничных. В такое раннее время из уважения к нашему сну они привлекательно перешептывались. Я знал, что там передаются самые свежие новости: как вчера у отставного дедушкиного повара Игната Семеновича заболела голова, а Павел буфетчик в той же избе в своем углу стал на щипок отхватывать «барыню» на балалайке, и как Игнат Семенович два раза крикнул ему: «перестань!», а потом не посмотрел, что он с барского верха, и расколол ему балалайку; как третьего дня хоронили мать дурочки Акулины, и как дурочка чудесно по ней голосила и причитала:

«Сестрицы родимые, вскиньтесь белыми голубками, прилетайте поплакать надо мною, сиротинкой!» и т. д.

А не то, опять про жар-птицу и про то, как царь на походе стал пить из студеного колодца, и водяной, схватив его за бороду, стал требовать того, чего он дома не знает... Кажется, век бы сидел и слушал!

В пятом часу утра, уступая неудержимому стремлению к фантастическому миру сказок, я вскакивал в затемненной ставешками детской с кровати и направлялся к яркой черте просвета между половинками дверей, босиком, в длинной ночной сорочке с расстегнутой грудью.

– Вишь ты, кому не спится-то! – говорила шепотом мне навстречу шаловливая Прасковья, пощипывая тонкий лен левой рукой и далеко отводя правой крутящееся веретено. Невзирая на такую ироническую встречу, я каждый раз усаживался на скамейке подле Прасковьи и натягивал через приподнятые колени рубашку, образуя как бы палатку вокруг своего тела. Затем начиналась вполголоса неотвязная просьба: «Прасковья, скажи сказочку».

Когда Шехерезада молчала, моя детская рука хватала ее за подбородок, стараясь повернуть ее голову ко мне, и в десятый раз повторялось неизменное:

«Прасковья, скажи сказочку!»

Некоторые горничные особенно щеголяли пряжей, тонкой, как паутина, и, конечно, хлопки (очески) такой намыки были воздушны, как облако.

Зная, вероятно, по опыту, что такой хлопок может только мгновенно вспыхнуть, проказница Прасковья однажды, когда я очень надоел ей, бросила в отверстие моей палатки, т. е. в разверстый ворот рубахи, такой зажженный хлопок; не успели мы все ахнуть, как фейерверк внутри палатки потух, не причинив мне ни малейшего вреда. Но и такой рискованный урок не отбил у меня охоты к сказкам.

По вечерам, когда мама уходила в спальню рядом с нашей детской, горничные, которым нельзя уже было через запертые сени нижнего этажа шнырять то на кухню за утюгом и кушаньем кормилице, то на дворню, то к приказчице за яблоками, охотно присаживались за гребни возобновить свою болтовню шепотом.

Я знал, что, когда дело было особенной важности, девушки бросали работу и собирались слушать решающие приговоры Елизаветы Николаевны, которая, еще плохо владея русским языком, тем не менее до тонкости знала весь народный быт, начиная с крестинных, свадебных и похоронных обрядов, и которой раньше всех было известно, что у садовника Иллариона такой касарецкий (Убитый под Рождество боров), какого никто не видывал.

В случае важной таинственной новости все уходило в маленькую девичью, в которой, отворивши дверь на морозный чердак, можно было видеть между ступеньками лестницы засунутый войлок и подушку каждой девушки, в том числе и Елизаветы Николаевны. Все эти постели, пышащие морозом, вносились в комнату и расстилались на пол, между прочим перед нашими кроватками и колыбельками.

Однажды, догадавшись о важном собрании, я пробрался в маленькую девичью и могу передать только то, что: отрывочно удержалось в моей памяти.

«Сам приказчик Никифор Федорович сегодня вернувшись из Мценска, сказывал: «Всех бунтовщиков переловили и в тюрьму посадили. Добирались до царской фамилии, а не на того напали. Он тут же в тюрьме-то был ряженный, они и говорят: «Не мы, так наши дети, наши внуки». Тут-то их уже, которых не казнили, сослали со всем родом и племенем».

Отец не был против игр и даже беготни детей, но неприветливо смотрел на игрушки, даримые посторонними. «Не раздражайте желаний, – говорил он, – их и без того появится много; деревянные кирпичики, колчужки – самые лучшие игрушки».

Справедливость этого я испытывал сам. Хотя у меня и была картонная лошадь, но в воскресенье и праздничные дни, когда девичьи скамейки были свободны, с гораздо большим наслаждением запрягал их и отправлялся в далекие и трудные путешествия, не двигаясь с места. Благодетельная фантазия сильнее работает при меньшей правдоподобности, а потому и более восторгает. Эта же богиня усаживала меня верхом на колени к молодой красавице соседке нашей Александре Николаевне Зыбиной, когда последняя приезжала в гости к мама и садилась в своем светлосером шелковом платье на кресло в гостиной около дивана. Хотя, подсакивая на ее коленях, я держал в руках, как вожжи, ее жемчужное ожерелье, но должно быть, делал это достаточно осторожно, так как Зыбина несколько раз позволяла мне это катанье.

Кроме колен добрейшей Александры Николаевны, у меня была еще более отрадная лошадка: грудь моего крестного отца и дяди.

Он был холостяк, нежно любил моего отца и, приезжая весьма часто верхом или на беговых дрожках за 4 версты со своего Ядрина, считал наш дом нераздельным со своим.

И отец и дядя были с мундирами в отставке: первый в уланском с малиновым подбоем на лацканах, а дядя в пехотном с красным подбоем и георгиевским крестом в петлице.

Услыхав о приезде дяди, я тотчас же бежал в кабинет отца, где обыкновенно заставлял последнего в кресле перед письменным столом, а дядю – лежащим навзничь на кушетке. Поцеловавши у дяди руку, как этого требовал домашний этикет, я взлезал на кушетку и садился на грудь дяди верхом.

– Как же ты так беспокоишь дядю! – говаривал отец; но на это постоянно следовало возражение дяди.

– Ты, пожалуйста, уж оставь нас в покое. Мы с ним друг друга знаем.

Не знаю, что мог видеть дядя в моих глазах, но он всегда с улыбкой брал меня за уши, за подбородок, щеки, нос и т. д. и спрашивал: «Что это такое?» и когда я отвечал: «Нос, ухо», – дядя говорил: «Врешь, плутишка, это глаза».

Хотя у отца, до моего 15-ти летнего возраста, было, как я потом узнал, в Новоселках, Скворчем и на Тиму – всего при трехстах душах 2200 десятин, из коих 700 находилось в пользовании крестьян, тем не менее отец как превосходный хозяин мог бы жить безбедно, если бы не долги, оставшиеся еще с военной службы, вследствие увлечения картами. Уплата частных и казенных процентов сильно стесняла и омрачала и без того мало общительный нрав отца.

Самые Новоселки значительно обременили его бюджет своим возникновением.

Бедная мать напрягала все усилия, чтобы избежать денежных трат, обходясь по возможности домашними произведениями, что при тогдашнем образе жизни ей удавалось почти вполне. За исключением свечей и говядины, да небольшого количества бакалейных товаров, все, начиная с сукна, полотна и столового белья и кончая всевозможной съестной провизией, было или домашним производством, или сбором с крестьян. Жалованье прислуге и дворне выдавал сам отец, но в каких это было размерах, можно судить по тому, что горничные, получавшие обувь, белье и домашнюю пестрядь на платья, получали, кроме того, как говорилось «на подметки», в год по полтинному.

Отец, и без того постоянно отъезжавший на Скворчье и на Тим, вынужден был из-за хлопот по процессу ехать в Петербург. Впоследствии он неоднократно рассказывал, как, бегая по недостатку в деньгах пешком по Петербургу, он, намявши мозоли, вынужден был, скрепя сердце, продолжать мучительную беготню.

Тем не менее он привез мне венгерку с великолепными плетешками и пуговицами, матери дорогого в то время и красивого ситцу Битепажа и столовые английские часы.

Подрастая в небогатом кругу, я в торжественные визиты, по одному цвету и покрою шелкового платья, мог безошибочно назвать входящую гостью. Зыбина.

Александра Николаевна, появлялась в светло-сером, Каврайская, Варвара Герасимовна, в светло-зеленом, Борисова, Марья Петровна, в муаровом коричневом и т. д. У матери нашей, вероятно, не было бы ни одного шелкового платья, если бы дядя Петр Неофитович не был нашим общим восприемником и не считал долгом класть куме золотой «на зубок» и дарить шелковое платье «на ризки».

Ко времени, о котором я говорю, в детской прибавилось еще две кровати: сестры Любиньки и брата Васи. Назвав меня по своему имени Афанасием, отец назвал и второго за покойным Васею сына тем же именем, в угоду старому холостяку, родному дяде своему Василию Петровичу Шеншину.

Понятно, что при денежной стеснительности нечего было и думать о специальном для меня учителе. Положим, сама мать при помощи Елизаветы Николаевны выучила меня по складам читать по-немецки; но мама, сама понемногу выучившаяся говорить и писать по-русски,

хотя в правописании и твердости почерка впоследствии и превосходила большинство своих соседок, тем не менее не доверяла себе в деле обучения русской грамоте. Во время моего детства Россия, не забывшая векового прошлого, знала один источник наук и грамотности – духовенство; и желающие зажечь свой светильник вынуждены были обращаться туда же. По отношению образования крепостных людей, отец всю жизнь неизменно держался правила: всякий крестьянин или дворовый по достижении сыном соответственных лет обязан был испросить позволения отдать его на обучение известному ремеслу, и бывший ученик обязан был принести барину на показ собственного изделия: овчину, рукавицы, подкову, полушубок или валенки, и только в случае одобрения работы, отцу дозволялось просить о женитьбе малого. И вот одна из главных причин сравнительного благосостояния отцовских крестьян. Что же касается до грамотности, то желающим предоставлялось отдавать мальчика к попу; но отец никогда не проверял успехов школьников, так как все счета в заглазных имениях велись неграмотными старостами по биркам, а общие счета отец сводил собственноручно, для чего нередко просиживал ночи, чем немало гордился, называя это своими мозолями. Тем не менее среди окружающей нас дворовой молодежи почти все были грамотными. Так буфетчик и кондитер Павел Тимофеевич в силу своей грамотности попал при распродаже дубового леса в приказчики и собственноручно записывал расход дубов и приход денег. Ему не только хорошо были известны буквы и цифры, но и знаки препинания, постоянно выручавшие его из беды. Так, когда в слове: «получено» – ножка «л» слишком близко подвигалась под брюшко «о», и читающий мог принять это сочетание за «а», – на выручку являлась запятая, указывающая, что это две буквы, а не одна. Так как литературные интересы в то время далеко затмевались кулинарными, то по причине частого поступления дворовых мальчиков в Москву на кухни Яра, Английского клуба и князя Сергея Михайловича Голицына, – прекрасных поваров у нас было много. Они готовили попеременно, и один из них постоянно сопровождал отца при его поездках на Скворчье и на Тим. Один из них, Афанасий, превосходно ворковавший голубем, был выбран матерью быть моим первым учителем русской грамоты. Вероятно, привыкнув к механизму сочетания немецких букв, я не затруднялся и над русскими: аз, буки, веде; и вскорости, двигая деревянною рогулькою по стрелкам, не без – труда пропускал сквозь зубы: взбры, вздры и т. п.

В ту пору я мог быть по седьмому году от роду и, хотя давно уже читал по верхам: аз-араб, буки-беседка, веде-ведро, тем не менее немецкая моя грамотность далеко опередила русскую, и я, со слезами побеждая трудность детских книжек Кампе, находил удовольствие читать в них разные стихотворения, которые невольно оставались у меня в памяти. Писать я тогда не умел, так как отец весьма серьезно смотрел на искусство чистописания и требовал, чтобы к нему прибегали хотя и поздно, но по всем правилам под руководством мастера выписывать палки и оники. Это не мешало мне наслаждаться ритмом затверженных немецких басенок, так что по ночам, проснувшись, я томился сладостною попыткой переводить немецкую басню на русский язык. Вот наконец после долгих усилий русские стихи заменяют немецкие. Но как безграмотному удержать свой перевод?

Так как отец большею частью спал на кушетке в своем рабочем кабинете, или был в разъездах по имениям, то я знал, что мама не только одна в спальне на своей широкой постели, но что за высокими головашками последней под образами постоянно горит ночник. Когда мною окончательно овладевал восторг побежденных трудностей, я вскакивал с постели и босиком бежал к матери, тихонько отворяя дверь в спальню.

– Что тебе надо? – сначала спрашивала мать, встревоженная моим неожиданным приходом, но впоследствии она уже знала, что я пришел диктовать свой стихотворный перевод, и я без дальнейших объяснений зажигал свечку, которую ставил на ночной столик, подавая матери, по ее указанию, карандаш и клочок бумаги. Одно из таких ночных произведений удержалось в моей памяти и в оригинале и в переводе:

Ein Bienchen fiel in einen Bach,  
Das sah von oben eine Taube  
Und brach ein Blattchen von der Laube  
Und warf's ihm zu. Das Bienchen schnamm danach.  
In kurze Zeit sass unsre Taube  
Zufrieden wieder auf der Laube.  
Em lager hatte schon den Hahn danach gespannt.  
Das Bienchen kam: pik! stach's ihn, in die Hand,  
Puff ging der ganze Schuss daneben.  
Die Taube flog davon. Wem dankte sie ihr Leben?

а затем мой перевод:

Летела пчелка, пала в речку,  
Увидя то, голубка с бережечку  
С беседки сорвала листок  
И пчелке кинула мосток.

Затем голубка наша смело  
На самый верх беседки села.  
Стал егерь целиться в голубку,  
Но пик! пчела его за губку,  
Паф! дробь вся пролетела.  
Голубка уцелела.

Не менее восторга возбуждала во мне живопись, высшим образцом которой являлась на мои глаза действительно прекрасная масляная копия Святого Семейства, изображающая Божию Матерь на кресле с младенцем на руках, младенцем Иоанном Крестителем по левую и Св. Иосифом по правую сторону. Мать растолковала мне, что это произведение величайшего живописца Рафаэля и научила меня молиться на этот образ. Сколько раз мне казалось, что Божия Матерь тем же нежным взором смотрит на меня, как и на своего божественного младенца, и я проливал сладкие слезы умиления...

Как ни страстен я был к неисчерпаемым сказкам Прасковьи, но должен сказать, что, подобно всему дому, испытывал невольное влечение к горничной или, как тогда говорили, фрейлине мам\_а\_ Аннушке. Это была прелестная, стройная блондинка с светло-серыми глазами, и хотя и она прошла через затрапезное платье, но мать наша всегда находила возможность подарить ей свое ситцевое или холстинковое и какую-нибудь ленту на пояс. Из этого Аннушка при своем мастерстве и врожденной грации умела в праздник быть изящно наряженной. Припоминая ее образ, я в настоящее время не сумел бы вернее воспроизвести его, чем словами Пушкина:

Коса змеей на гребне роговом,  
Из-за ушей змеями кудри русы,  
Косыночка крест накрест иль узлом,  
На тонкой шее восковые бусы...

Никто не мог выпрясть более тонких талек (мотков) на полотно, не уступающее батисту. Вышитые Аннушкой на пальцах воротнички приводили в восхищение соседних барынь.

Случалось, что мам\_а\_ перед приездом гостей заставляла свою горничную в спальне переменить мне чулки; и когда, бывало, Аннушка, завязавши подвязку антом спереди, ловко приклепнет рукою по этому анту, мне казалось, что она присадила туда астру: так хороши выходили у нее банты. Надо было видеть Аннушку разряженную на Святой недели. Однажды, видя как я неловко царапаю перочинным ножом красное яйцо, чтобы сделать его похожим на некоторые писанные, Аннушка взяла из рук моих яйцо, со словами: «Позвольте, я его распишу». Усевшись у окна, она стала скрести ножичком яйцо, от времени до времени, вероятно, для ясности рисунка, слизывая соскобленное. Желая видеть возникавшие под ножичком рисунки и цветы, я до того близко наклонился к ней, что меня обдавало тончайшим и сладостным ароматом ее дыхания. К этому упоению не примешивалось никакого плотского чувства, так как в то время я еще твердо верил, что проживающая у нас по временам акушерка приносит мне братцев и сестриц из колодца. Если бы меня теперь спросили, чем благоухало дыхание Аннушки, я бы не затруднился ответить прелестной эпиграммой Марциала – кн. III, 65:

## МАЛЬЧИКУ ДИАДУМЕНУ

Чем от нежной кусающей яблоко девушки дышит,  
Чем ветерок, набежав на Корицийский шафран,  
Чем зацветает впервой лоза, заболевшая гроздом,  
Чем трава отдает, срезана зубом овцы,  
Чем и мирт, или жнец араб и янтарь после тренья,  
Чем благовонен огонь, ладан эосский куря,  
Чем земля, как ее окропить летним дождиком малость,  
Чем венок, что с волос, нардом упитанных снят,  
Этим дышат твои, Диадумен, поцелуи.  
Что же, если бы ты все их давал не скупясь?

Вероятно, под влиянием дяди Петра Неофитовича, отец взял ко мне семинариста Петра Степановича, сына мценского соборного священника. О его влиянии на меня сказать ничего не могу, так как в скорости по водворении в доме этот скромный и, вероятно, хорошо учившийся юноша попросил у отца беговых дрожек, чтобы сбегать во мценский собор, куда, как уведомлял его отец, ждали владыку. Вернувшись из города, Петр Степанович рассказывал, что дорогой туда сочинил краткое приветствие архипастырю на греческом языке.

Вероятно, приветствие понравилось, ибо через месяц Петр Степанович получил хорошее место чуть ли не в самом Орле. Даже за короткое время его пребывания мне казалось, что Аннушка нравится ему более, чем мне; и я заключил, что стихотворение, забытое им впопыхах на столе, начинавшееся стихами:

«Цветок милый и душистый,  
Цвети для юности моей»...

– относилось к ней.

С отъездом Петра Степановича я остался снова без учителя. Но так как в детскую акушерка вместе с новой кормилицей принесла из колодца вторую сестричку Анночку, – меня перевели в комнату – между гостиной и кабинетом отца, получившую вследствие этого название классной. С тем вместе я поступил на руки Филиппа Агафоновича. Старик на прогулках, конечно, не мог поспеть за резвым мальчиком, величайшим удовольствием которого было забежать по саду вперед и взлезть на самую макушку дерева. Я приходил в восторг, когда пришедший Филипп Агафонович, воздевая руки, отчаянно причитал: «Ах отцы мои небесные! что ж это такое!»

Натешившись отчаянием старика, я с хохотом соскакивал с дерева. Но такие проказы случались редко: большею частью старик умел занять меня своими рассказами про нашего дедушку Неофита Петровича и бабушку Анну Ивановну, у которых съезжалось много гостей и были свои крепостные музыканты в лаптях.

Как однажды бросившийся на дедушку задержанный собаками волк сильно поранил ему правую руку, которою тем не менее он в глотку заколол волка кинжалом.

Как однажды, когда дедушка, по привычке, лежа в зимней кибитке на пуховиках и под медвежьими одеялами раздетый, проснувшись, громко крикнул: «Малый!» – в то время как кучер и слуга для облегчения лошадей и чтобы самим размяться на морозе, шли в гору за кибиткой; как лошади испугались этого внезапного крика, и вся тройка подхватила, даром что

дело было в гору. К счастью, вожжи лежали на головашках, и дедушка, поднявшись в одной сорочке, остановил лошадей, успевших проскакать с четверть версты.

Филипп Агафонович рассказывал, что был при дедушке парикмахером и сам носил косу, отчего волосы его сохранили способность ложиться за гребнем безразлично во всех направлениях; в подтверждение этого он доставал роговой гребень из кармана и говоря: «Извольте видеть», – гладко зачесывал свои седые волосы назад.

– Были мы, – говорил он, – с вашим папашей на войне в Пруссии и Цецарии. Вот дяденьку Петра Неофитовича пулей в голову контузили, а нас-то бог миловал.

Хотя я и не без усилий читал главнейшие молитвы, но Филипп Агафонович умел упротить меня возобновить это чтение, которое, конечно, ему было приятнее беготни по саду и по лесу.

– Которую же вам прочитаеть, Филипп Агафонович? Вот эту, что ли? – говорил я сидящему у стола с шерстяным на толстых медных спицах чулком в руках: – Эту, что ли: «Верую во единого»?

– Эту самую, батюшка, – отвечал Филипп Агафонович, продолжая как бы медленно читать по книжке: – Бога Отца, Вседержителя...

– Филипп Агафонович, да разве вы умеете читать?

– Как же, батюшка, – говорил старик, в действительности совершенно неграмотный, – да вот глаза больно плохи, так уж вы мне, батюшка, от божественного-то почитайте.

И преодолев с величайшим трудом «Верую», я переходил к бесконечном «Помилуй мя Боже»...

Во все время моего заикающегося чтения, Филипп Агафонович, поставивши кулак на кулак, упирался лбом на эту надежную подставку и во сне громко переводил дух, сперва взасос натягивая воздух, а затем испуская его; причем губы очень внятно делали: пфу.

– Филипп Агафонович, да ведь вы меня не слушаете!

– Все время, батюшка, слушал, да уж так-то вы сладко читаете, что я задремал.

Петр Степанович, остававшийся у нас недолго, тем не менее успел начать со мною русскую грамматику, хотя часто приезжавший дядя Петр Неофитович справедливо советовал упражнять меня более в чтении. До сих пор не могу себе объяснить, почему мне так трудно давался механизм чтения? В то время мне было лет девять от роду, но, обучаясь впоследствии разным наукам, я продолжал читать весьма неудовлетворительно. Вообще трудно себе представить приемы обучения, более отталкивающие, чем те, которым подвергали мою далеко не блестящую память. Наемные учителя были равнодушны к моим успехам, и сама мать, напрягавшая все силы для моего развития, не умела за это взяться.

Помню, как однажды, когда, за отсутствием учителя, мать, сидя в классной, заставляла меня делать грамматический разбор какой-то русской фразы, и я стал в тупик, – она, желая добиться своего, громко и настоятельно начала повторять: «Какой это падеж? какой это падеж?» При этих восклицаниях находившийся в числе прислуги молодой и щеголеватый портной Меркул Кузьмич проворно растворил дверь классной и внушительно доложил: «Коровий, сударыня, у Зыбиных коровы падают».

Та же добрая мать, желая большей ясностью облегчить дело памяти и не подозревая, что *gis* и *toum* родительные падежи *mare* и *cete* – заставляла меня учить: *mare* – море и *gis* – море; *cete* – кит и *torum* – кит.

Важные мероприятия в доме шли от отца, не терпевшего ничьего вмешательства в эти дела. Было очевидно, до какой степени матери было неприятно решать что-либо важное во время частых разъездов отца. Должно быть, как лицу, ко мне приближенному, старику Филиппу Агафоновичу сшили нанковую пару серо-синего цвета.

Однажды, когда я спросил про Филиппа Агафоновича, мне сказали, что он болен, а через несколько дней, забежав в столярную, я увидел, что Иван столяр делает длинный ящик. На

вопрос мой: «Что это такое?» Иван отвечал, что это гроб Филиппу Агафоновичу, заказанный с утра приказчиком Никифором Федоровичем.

Около полудня слуга, войдя в детскую, доложил о приходе Никифора Федоровича.

– Сударыня, – сказал последний, – осмелюсь доложить, домашние Филиппа Агафоновича убрали его в гроб и надели на него новую летнюю пару, ни у кого не спросясь. Теперь он уже зачоченел, и ломать покойника не приходится, а как бы Афанасий Неофитович не прогневались.

– Ну, ты доложи барину, что это я позволила.

Я никогда ничего более не слышал об этом разрешении.

В числе ближайших соседей было в селе Подбелевце семейство Мансуровых с почтенным стариком Михаилом Николаевичем во главе. От времени до времени старик приезжал к нам на дрожках, запряженных парюю добрых гнедо-пегих лошадей. Старик, очевидно, передал заведывание хозяйством в руки старшего сына Дмитрия Михайловича, который по временам тоже приезжал к нам в гости и нередко с двумя сестрами смолянками: Анной и Варварой Михайловнами. Это были весьма милые и образованные девушки, в особенности меньшая Варвара, до конца жизни бывшая преданною подругой моей матери, которую снабжала интересными книгами, так как отец, кроме «Московских Ведомостей» и «Вестника Европы», никаких книг не выписывал.

В семействе был еще младший брат Дмитрия Михайловича Александр, проживавший со своими книгами в отдельном флигеле, из которого изредка предпринимал одиночные прогулки по тенистому саду. Кушанье носили ему прямо во флигель, и никто не видал его за семейным столом. Говорили о нем как о больном.

Выше я упоминал о соседке Александре Николаевне Зыбиной. Во время, когда я принимал ее колена за лошадку, помню сопровождавшего ее иногда плотного супруга в отставном военном мундире с красным воротником. Дом в имении Зыбиных, снабженный Двухэтажными балконами по обе стороны, примыкал к обширному саду, одна из аллей которого вела к калитке церковной ограды.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.